

Воспоминания столько же о прошлом, сколько и о будущем

Газим ШАФИКОВ, писатель, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева

Тельце мое, лёгкое, как перышко, — убери отец руку, которой прижимает меня к седлу, — и я упорхну с седла и улечу. Бесплотной бабочкой-махаоном возрею над скатами гор, буду стлаться над бурными громадами в сизом ином мха, и лететь, лететь вниз, в пропасть, в кипящую стремнину Таласса.

Но отец поддерживает меня надёжно, и лошадь под нами, тоже бурой масти, как эти окружающие нас камни, издавая утробные всхрапы и всхлипы, натужно карабкается вверх, иногда оскальзываясь и оступаясь, но при этом каким-то чудом не теряя равновесия. Карбакается много часов подряд.

Когда это было?

Давно. На заре жизни. На тускло светящемся горизонте бытия.

Если быть до конца откровенным, я вовсе не уверен, что видел это своими глазами и до поры замкнул в своей памяти. Вполне возможно, я знаю об этом лишь по рассказам взрослых.

Я был последним из двенадцати детей. Девять из них умерли в одном и том же возрасте — в два или три года. И от одной и той же болезни — дизентерии. Звучит странно и жутко! Однако тогда эта напасть была страшней холеры и чумы. Будь мой отец мистиком, он воспринял бы это как грозный знак судьбы и перестал бы стремиться к дальнейшему детопроизводству. Но ему хотелось иметь сына. Обязательно сына — наследника. Продолжателя рода. Но именно сыновья гибли один за другим. В живых оставались две дочери — Галя и Диляра. А отец хотел иметь сына! Сама мысль об изрубленном родовом стволе была для него невыносимой, он не мог вернуться в родные края без наследника. И он продолжал упорствовать.

Увы, меня тоже настигла участь братьев, которых я не знал и не видел. Отец не верил в мою жизнеспособность. Но он не хотел хоронить меня собственными руками. Наверное, ему легче было услышать весть о моей кончине из чужих уст, и потому он вёз меня к своему приятелю — киргизу по имени Шаке. Тот спускался в долину Таласса раз или два в год, и отец снабжал его насваем (махоркой) и твёрдым, как камень, комковым сахаром, который государство отпускало киргизским ребятам, детям фронтовиков. Отец работал директором школы-интерната и на собственных детей у него не оставалось времени. Вполне возможно, что именно это обстоятельство стало главной причиной раннего ухода из жизни моих братьев и сестёр.

Я был хилым и болезненным от рождения, и когда, везя меня к старику Шаке, отец снова проливал слёзы, он делал это не из жалости ко мне, к своему последнему сыну, а из жалости к себе, к своим навеки утраченным надеждам к продолжению рода. Матери моей в ту пору было сорок пять, она устала от бесконечных родов и физически была неспособна к деторождению. Это понимали оба: и он, и она.

Старик Шаке... кем он был? Знахарем? Народным лекарем-целителем? Или просто добрым человеком, в душе которого всегда находилось место для других, для их бед и недугов. Поди узнай это после стольких лет!

Где-то за тысячи километров горел воздух и свинцом растекалась земля. И кованые солдатские сапоги шли и шли, увязая в той земле и обгорая в том воздухе, на запад. Где-то там, в безмерном далеке, сражался сын старика Шаке. А он жил со своей полуслепой старухой на высоте трёх с половиной тысяч метров над уровнем... суши, постоянно думая о своем воюющем наследнике. А тут я, то ли в тягость, то ли в утеху...

Ввиду слепоты жена старика Шаке — старуха Айше — почти всё время проводила у родного очага, но при этом ухитрялась выдаивать кобылиц, одну корову и шесть коз с вислыми сосками, взбить кумыс, выцедить молоко, выудить сливки и сготовить из айрана

курут. Она ухитрялась делать тыщу других домашних дел, и при этом у неё хватало времени и ласковых слов на меня, подкидыша из невидимых оттуда таласских низин. Она почти насильно вливала мне в рот кумыс и поила козьим молоком, ежедневно давала бульон в крепком растворе курута, а на ночь потчевала каким-то мутным, отдающим полынной горечью, отваром. Нежные шлепки её шершавых ладоней и шепелявый говорок: “Ай, айланайн, садагасы кетейм!” — будто и поныне тревожат мой тоскующий слух.

В ту пору на горах рано пал снег, наглухо замуровал все проходы и перевалы, отрезав доступ в свои пределы. Я жил, не ведая о том, что там, внизу, в долинах свирепого Таласса, меня давным-давно похоронили; что после двух неудачных попыток пробиться в долонские выси отец оставил сие предприятие до будущего лета. Но уже к весне, когда неожиданная теплынь превратила снега и ледники в ревущие потоки и запалила склоны Киргизского хребта сплошным пожаром тюльпанов, старик Шаке одному лишь ему известными тропами довез меня до дому и, отпустив с седла, поставил меня на ноги у ворот. Когда из дому повалили все, кто там в это время находился, я не на шутку испугался, зашёлся отчаянным плачем и прижался к ногам старого киргиза. И тогда заплакали все, а с матерью приключилось что-то вроде припадка. И только старый хитрый Шаке лукаво щурил узкие глазки да посмеивался в тонкие редкие усы.

Горный поднебесный воздух, на треть лишённый той доли кислорода, который необходим равнинному жителю, оказался целебным для младенца. Полынное зелье Айше-кемир, кумыс альпийских лугов, козье молоко подоблачных высот, простые подношения добрых рук... закрою глаза, и примерещится войлочная юрта, дымок каменного очага, сгорбленная фигура полуслепой старухи на фоне горящих тюльпанов.

О восприимчивости младенческой души написано столько — не перечить.

Первые осознанные воспоминания жизни — мать у изголовья, её песни, стихи, суры корана. По сию пору звучат они в моих ушах.

Слова одной из любимых песен принадлежат Габдулле Тукаю. В переводе Анны Ахматовой они звучат так:

Саз мой нежный и печальный,
слишком мало ты звучал:
Гасну я, ветшаешь ты —
о, как расстаться мне с тобой?
В клетке мира было тесно
птице сердца моего;
Создал Бог её весёлой,
но мирской тщете чужой...

Как это часто бывает, великая поэтесса сумела почти дословно передать смысл оригинала, и всё же перевод получился не более чем бледной его тенью. Но ведь у этих слов, зазвучавших с особой сенсорностью, есть ещё и собственная мелодия, в которой словно бы струится кровь самого поэта на излёте его жизни и судьбы.

Именно такими — во плоти и крови — вошли эти великие строчки в мою душу. Можно сказать — с молоком матери! Я убежден: именно незатейливые песни матери и стали камертоном моей дальнейшей жизни, неувядаемой любви к народной песне и мелодии.

Мать знала множество стихов, кроме вышеназванного Тукая, читала Акмуллу и Бабича. Одно из небольших стихотворений я запомнил настолько, что перевёл на русский язык двадцать лет спустя.

В брэнном мире все извилисты
дороги — нет прямых.
Все тернисты! Но усердно люди
мнут и топчут их.
Так иди по ним, надежду не теряя
ни на миг.
Мертвецом себя не чувствуй,
коль живешь среди живых.

Последняя строчка стала девизом моей жизни. Конечно, колыбельная импровизация матерей должна ложиться на благодатную почву. Что там говорить — гены великое дело!

Не раз и не два задумывался я над тем, откуда берутся тираны, палачи, идеологические шкурники и авантюристы, которые десятилетиями давили (и давят), гнули, преследовали лучших сынов своего народа, опираясь на режим насилия. Именно такие шкурники и авантюристы господствовали на земле первой автономии, выбивая из коренного народа его гордый дух, уродуя и корёжа его внутренние силы, калеча судьбы высоких душ и талантов. Разумеется, этих господарей “из низов” создавала сама система, которая внушила своим самоуверенным выкорышкам мысль, будто одно недолговременное пребывание в стенах комсомольских, партийных школ или академий даёт им право распоряжаться судьбами своих соотечественников, устраивать жизнь, быт и бытие людей по их идеологическим меркам, быть и прокурорами, и судьями всей нашей земли.

Не слушавший в колыбели тихих песен матери, её убаюкивающего напева и стихов, произносимых как заклинание, никогда не будет в полной мере понимать и осязать красоту мира, полноту жизни, чистоту помыслов. Не будет знать, что такое романтика, идеализм и идеализация, не будет знать истинную цену любви и дружбы. То есть всё это будет ему знакомо, но не станет его живой натурой и душой.

Сколько младенцев, лежащих ныне в своих детских кроватках, колясках, не слышат колыбельных мелодий и стихов. Не говоря уже о молитвах. В лучшем случае их распускающийся, как бутон розы, слух ловит резкие голоса бранящихся родителей или чей-нибудь плач. Душа человеческая ожесточается ещё в колыбели, чтобы потом стать невосприимчивой к жестокой жизни, к бедам и страданиям людей. Мягкий и добрый человек редко становится бизнесменом, депутатом Думы или членом правительства, вообще большим начальником, ибо сегодняшние отношения в деловом мире и в сфере политической жизни редко предусматривают наличие души.

Никогда не забуду один разговор с отцом.

Где-то в классе пятом или шестом я спросил у него, верит ли он в Бога. Меня удивило то, как серьёзно воспринял он мой легкомысленный вопрос. Мне показалось даже, что вопрос этот застал его врасплох. Во всяком случае ответил он далеко не сразу.

— Видишь ли, я человек аж из того века, — сказал он, помню, как бы оправдываясь и взвешивая каждое слово. — Нам чуть не с колыбели внушали почтение перед Богом, заставляли заучивать суры Корана. Так вот, то, что закладывается с раннего возраста, сохраняется на всю жизнь. Поэтому я остаюсь верующим человеком. Но это касается только меня. Моего поколения. Всем остальным — вольному воля. Никто не имеет права давить на человека... принуждать его насильно...

Если бы я не был тогда насквозь отравленным атеизмом и идеологией оболтусом, непременно спросил бы у него: “А запрещать другому верить в Бога дозволено?”, хоть в малой степени поддержав тем самым потаённые нравственные устои отца. Но я был обычным маловозрастным совком и последующие слова отца не воспринял.

Свобода от религии и Бога ещё не означает свободу духа и сознания. Земная вера во Всевышнего не есть ещё рабство. И вообще жить на свете с верой легче, чем жить, не признавая никого. Хотя, конечно, человек должен прежде всего верить в самого себя, в свои силы.

Сорок лет спустя, переводя книгу “врага народа № 1” Ахмет-заки Валиди “Воспоминания”, я натолкнулся примерно на такие же рассуждения, хотя, разумеется, они были облачены в довольно сложные научные формулировки. “Наверное, так думали многие наши интеллигенты той эпохи”, — подумалось мне.

О том, с каким иезуитским цинизмом преследовалась в советское время человеческая вера, можно судить по тому, что моя мама, учительница младших классов, была по доносу в религиозности уволена с работы, а отца “за потакание в этом члена семьи” сняли с должности директора школы. И впрямь, сколько я помню, мать всегда свято блюла религиозные праздники, “держала уразу”, читала по приглашению верующих людей ясин (заупокойную

молитву) и перед сном подолгу шептала нескончаемые строки Корана, который знала в совершенстве.

Впрочем, теперь всё это кажется таким далеким и малосущественным, что и говорить-то не пристало. Но ведь это — судьба наших отцов и матерей, от которых родились мы, дети сегодняшнего рынка и “демократии”.

Совсем недавно я совершенно случайно стал свидетелем спора, суть которого сводилась к тому: что оказывает большее влияние на воспитание человека в его раннем возрасте — книга, радио или телевидение? Позвольте в связи с этим предаться ещё одному воспоминанию детства.

...9 мая сорок пятого года.

В школьном дворе установлен портрет товарища Сталина, нарисованный карандашом одного из учителей, а также круглый репродуктор, гремящий на всю округу и, кажется, отдающийся эхом в горных хребтах, взявших в свои каменные тиски наш аул Кыр-Казык. Не знаю, где достал этот аппарат мой отец, но именно благодаря ему Праздник Победы превратился в тех, Богом забытых краях в истинно народное торжество: люди плакали от радости, не только слухом, но и умом и сердцем внимая всему происходящему в это время в далекой Москве, где гремели ликующие марши и раздавались здравницы в честь великой Победы с последующим раскатным “Ура!”. Весь день звучала музыка, а на широкой площади вокруг школы толпились люди, прибывшие сюда из близлежащих аулов, спустившиеся с многокилометровых джайляу на низкорослых лошадях, ишаках и просто пешком. Мне было всего-то пять, но я необыкновенно отчётливо запомнил атмосферу того дня с его музыкой, слезами, странными плясками на шаманский лад, потому что у киргизов не было танцевальных традиций. И марши, марши, марши, непостижимым образом доносившиеся из самой Москвы — ликующей, поющей, салютующей...

До сих пор помню другой сентябрьский вечер пятидесятого года, даже не вечер, а полночь, когда отцу удалось поймать на ясной московской волне голос Магафура Хисматуллина, исполнившего две песни — “Урал” и “Хандугас” (“Соловей”). Он пел с таким невообразимым вдохновением и красотой неповторимого тенора, сверкавшего в ту пору, как солнце в зените июльского дня, что я впервые по-настоящему понял, что значит чудо национального мелизма и мелодизма, обозначаемого коротким словом “мон”. Я был потрясён. Слезы сами собой текли по моим щекам.

Позднее, уже по возвращении в Башкирию, слушал много певцов, исполнителей башкирских народных песен. Открыл для себя Хабира Галимова, Сулеймана Абдуллина, Асму Шаймуратову... Затем — Иншара Султанбаева, Абдуллу Султанова, Рамазана Янбекова... Да мало ли у нас замечательных артистов, как профессиональных, так и самодеятельных, но Магафур Хисматуллин остаётся для меня воплощением национального вокала, своеобразным его символом, ибо впервые именно он открыл для меня всю глубину и красоту башкирского национального мелоса.

По сути, все эти заметки о радио — воспоминания. Но не только о прошлом, но и о... сегодняшнем и даже — о будущем. Так вот, именно радио я ставлю на первое место не столько как средство информации и общения с миром, сколько как средство жизненного и нравственного воспитания человека, эстетического “оформления”, наполнения его души и сознания. Конечно, сегодня многое переменялось, сместились акценты, изменилась сама общественная и человеческая психология. Но и теперь я отдаю предпочтение радио, хотя слушаю его далеко не так регулярно и часто, как в прежние времена.

Представьте себе, что вы живёте в каком-нибудь районном центре, вроде Акъяра, куда три-четыре десятилетия тому назад поезда из Уфы шли по двое-трое суток: где бывшая мечеть служила клубом, в которой “гоняли” фильмы и иногда выступала местная художественная самодеятельность. И всё! И никаких там гастрольных спектаклей, концертных коллективов или даже отдельных известных артистов... мог ли акъярский отпрыск при подобном обучении претендовать на интеллектуальный Олимп, имея в руках аттестат зрелости тамошней средней школы?

Не спешите ответить “нет”! Пытливый и любознательный — мог, читая книги и слушая по вечерам радио.

Однажды в одном интервью Василий Макарович Шукшин рассказал о том, как ночами прикинул ухом к маленькому приёмнику и слушал голоса великих русских актёров, играющих в таких же великих пьесах Островского и Чехова; слушал, как Василий Качалов и Владимир Яхонтов читали стихи Пушкина и Лермонтова, и комок блаженства застревал у него в горле.

Прочитав это, я испытал огромную радость, как Робинзон, обнаруживший на необитаемом острове следы Пятницы. Ведь со мной происходило то же самое! Только Шукшин слушал голос Москвы в своих Сростках, а я — в том самом Акъяре. Значит, он, как и я, любил передачу, называемую “Театр у микрофона”. О, какие пьесы звучали в эфире! “Отелло” с Мордвиновым в главной роли, “Горячее сердце” Островского с выдающимся актёром Грибовым, “Любовь Яровая” с Верой Пашенной, “Горе от ума” с Михаилом Царёвым... Да разве всех перечислишь! Это уже потом стали культивировать мнение, что эти артисты так называемого классического репертуара страдают ложным пафосом, далеки от правдивых жизненных интонаций, из них прут обыденность и риторика... Может быть, может быть... Но какое мне было дело до манеры и стиля исполнения, до художественных школ и направлений разных театров, если эти изумительные по звучанию и по богатству оттенков голоса доносили до меня не только живую душу персонажей, переливы их чувств, нюансы постоянно меняющейся психологии, но и выразительность произношения и огненного сияния русского языка, входившего в сердце, как звон благовеста, как громкий глас колоколов, и навсегда покорили своим величием.

А как часто звучали стихи истинно великих поэтов, начиная с Пушкина и Тютчева и кончая Блоком и Есениным! Читали их выдающиеся мастера художественного слова Яхонтов, Дмитрий Журавлёв, Александр Остужев...

Не сомневаюсь, что такое же неотразимое воздействие на юных слушателей оказывал голос народного артиста СССР Арслана Мубарякова, звучавший как со сцены, так и по радио. Он был поистине великим мастером художественного слова, в каком бы амплуа ни выступал — в ролях пьес или в исполнении стихов башкирских поэтов: богатый, многомерный голос, переливающийся внутренними оттенками, психологическая убедительность, красота каждого слова, каждой фразы.

В моём детстве было два кумира — книга и радио. Без каждого не могу представить свою жизнь. Они помогли раннему приобщению к истинной культуре. Я говорю об этом ещё и потому, что в условиях фронтального наступления массовой культуры возможности самостоятельного развития личности становятся всё проблематичней. Вот почему воспоминания о прошлом так и норовят превратиться в воспоминания о будущем...